



БРЕМЯ ЧЕЛОВЕЧНОСТИ

О главном и неглавном уме
в романе «Идиот»

Пушкин, высочайший для Достоевского авторитет в литературе, однажды заметил, что труднейшая задача человека на земле — нести бремя жизни, «иго нашей человечности». Можно сказать, что художественному воплощению этой задачи, разгадыванию «тайны человека», выявлению собственно человеческого в человеке и посвящен роман «Идиот». Раздумывая над «тайной человека» и отвечая в своих романах, в том числе и в «Идиоте», на связанные с ней вопросы, Достоевский раскрывал в мире всегда двоящиеся картины, когда добро и зло многообразными переплетениями событий и поступков слиты в неразрубаемый узел, а взлетающий на духовную высоту человек с неизменным постоянством шлепается в грязь. «Сорвавшиеся с корней», «потерявшие нитку», не имеющие твердой нравственной почвы и высших ориентиров, а потому «корчащиеся» под грузом современных проблем люди становятся предметом пристального внимания писателя во многих произведениях, как и в предстающем перед читателем сочинении. «Лебедев — гениальная фигура, — отмечал автор «Идиота» в черновиках. — И предан,



и плачет, и молится, и надувает Князя, и смеется над ним. Надувши, наивно и искренно стыдится Князя». Своеобразно дополняет характеристику подобного состояния сознания исповедь другого персонажа «Идиота» (Келлера), заявляющего: «... И слова, и дела, и ложь, и правда – все у меня вместе и совершенно искренно».

Согласно логике Достоевского, бесхребетная раздвоенность поведения при утрате вековечного идеала, отсутствии подлинного смысла жизни и исчезновении «высших типов» вокруг создает благоприятную для «темной основы нашей природы» атмосферу, в которой господствуют искашение и приумножение «своего права», утоление разнообразнейших эгоистических желаний, самолюбие, тщеславие, зависть, соперничество, чувственные страсти. Он заключал, что общество имеет предел своей деятельности, тот забор, на который оно наткнется и остановится из-за своего нравственного состояния.

По убеждению писателя, отвратить отдельную личность, целый народ или все человечество от подобной перспективы может лишь жизнь «с Богом». Только абсолютный идеал, его духовная высота, нравственная глубина и смыслополагающая сила стирают в душе все остальные идеалы и идолы и позволяют людям не довольствоваться собственной греховной природой, а стремиться к ее преображению, очищают корыстолюбиво-разрушительные побуждения натуры и переводят их в созидательно-человеческую плоскость. Таким идеалом, создающим непосредственность и непобедимость ощущения высшей красоты и подлинной духовной гармонии, делающим благодатный отказ от «натуральных» движений собственной воли «самовольным» и естественным, была для писателя личность Христа, Богочеловека с Его совершенной любовью, которая является выражением предельной свободы и одновременно величайшим самостеснением, жертвой, победой над созданной Адамом «натурой». По его убеждению, только христоподобная любовь (и большая или меньшая способность вместить ее в чистом сердце), которая не завидует, не гордится,



не превозносится и «не ищет своего», ибо не отождествляется ни с каким частным интересом или естественными склонностями, дающая, а не берущая любовь, которая долготерпит и все переносит, способна преобразить «темную основу нашей природы», возвысить и облагородить приниженную душу человека, восстановить в нем «образ человеческий», изменить и восполнить «укороченное» эгоцентризмом его сознание.

О чрезвычайной сложности изображения «положительно прекрасного» вообще, а в современную ему эпоху, когда все, напротив, складывалось «как бы с целью исключить в человеке всякую человечность», когда «все проедены самолюбием», в частности, Достоевский писал во время работы над «Идиотом» своей племяннице С.А. Ивановой: «Идея романа — моя старинная и любимая, но до того трудная, что я долго не смел браться за нее... Главная мысль романа — изобразить положительно прекрасного человека. Труднее этого нет ничего на свете, а особенно теперь. Все писатели, не только наши, но и даже европейские, кто только ни брался за изображение положительно прекрасного, — всегда пасовал. Потому что это задача безмерная. Прекрасное есть идеал, а идеал — ни наш, ни цивилизованной Европы еще далеко не выработался. На свете есть одно только положительно прекрасное лицо — Христос, так что явление этого безмерно, бесконечно прекрасного лица уж конечно есть бесконечное чудо».

В логике Достоевского «одно только» «бесконечное чудо» («чудесная и чудотворная красота», «пресветлый лик», «нравственная недостижимость» — такими словами он характеризует Богочеловека) нельзя повторить во внешнесобытийной буквальности, но можно в разной степени вмешать его дух и плоды и освещать «Светом Христовым» (часто употребляемое им словосочетание) несовершенные проявления всего «чисто человеческого», в том числе и его наилучших образцов. «Из прекрасных лиц в литературе христианской, — пишет он далее племяннице, — стоит всего законченнее Дон Кихот. Но он прекрасен единственно потому, что смешон». Продолжая эту



мысль, можно сказать, что главный герой романа, «Князь Христос», как иногда называет его автор в черновиках, прекрасен потому, что идиотичен, ненормален с точки зрения требований, правил и привычек эгоцентрической натуры человека. В этом отношении он сродни Алеше Карамазову, который в черновиках к «Братьям Карамазовым» неоднократно называется Идиотом, а в авторском введении к роману характеризуется как «чудак», выражавший своей «странныстью» подлинную человечность: «Ибо не только чудак «не всегда» частность и обособление, а напротив, бывает так, что он-то, пожалуй, и носит в себе иной раз сердцевину целого, а остальные люди его эпохи — все какими-нибудь наплывным ветром на время почему-то от него оторвались...»

Разрабатывая в 1868 г. темы «Идиота», отражающие «странные приключения» главного героя, автор намеревался развить сходную мысль, что, «может быть, в Идиоте человек-то более действителен», чем во всех других окружающих его персонажах. Об этом свидетельствуют, например, слова Настасьи Филипповны, обращенные к Мышкину перед ее уходом с Рогожиным: «Прощай, князь, в первый раз человека видела!» — или Ипполита, перед попыткой самоубийства: «Стойте так, я буду смотреть. Я с Человеком прощусь».

«Идиотизм» князя Мышкина провоцирует выход на поверхность всех скрытых намерений других персонажей и обнаружение подлинного краха мнимой, иллюзорной «нормальности» той жизни, в которой он оказался и которая движется в границах «темной основы нашей природы», так сказать, совершенствуясь в своей темноте на стыке развития практически земных интересов. «Нелепость» и «непрактичность» Мышкина, его «безумное» пренебрежение собственными интересами, непосредственность и искренность, незащищенность и доверчивость при неспособности лгать и остром, проницательном и глубоком уме косвенно выступают своеобразным евангельским эквивалентом, выраженным в словах: «... Бог избрал немудрец мира, чтобы посрамить мудрых, и немощное мира избрал Бог, чтобы посрамить



сильное» (1 Кор. 1:27). Более того, появление князя в пореформенной России среди нарождающихся капиталистов и ростовщиков, разного рода авантюристов и дельцов, поклоняющихся золотому тельцу и служащих мамоне, обнажает сами основы «естественного» порядка, предельным выражением которого становятся смерть и апокалиптическое состояние мира.

Многие персонажи «Идиота» одержимы разрушительной страстью наживы, которая принижает и опустошает их души. «Здесь ужасно малочестных людей, — замечает тринацатилетний Коля Иволгин в разговоре с Мышкиным, — так, даже некого совсем уважать... И заметили вы, князь, в наш век все авантюристы! И именно у нас в России, в нашем любезном отечестве. И как это так все устроилось — не понимаю. Кажется, уж как крепко стояло, а что теперь?.. Родители первые на попятный и сами своей прежней морали стыдятся. Вон, в Москве, родитель уговаривал сына ни перед чем не отступать для добывания денег; печатно известно... Все ростовщики, все, сплошь до единого».

Действительно, появляясь в богатом особняке Епанчих или скромном доме Иволгиных, в мрачном жилище Рогожина или на вечеринке у Настасьи Филипповны, главный герой везде сталкивается с неуемным стремлением к приобретательству, заполняющим или даже искажающим чисто человеческие желания и высшие свойства личности. Генерал Епанчин представляет собой тип сановника-капиталиста, участвует в откупах и акционерных компаниях, имеет два дома в Петербурге и фабрику, «слывет человеком с большими деньгами». Новое амплуа генерала заставляет его и в замужестве собственной дочери видеть выгодную сделку и помогать стареющему сановнику Тоцкому «продать» его грехи Гане Иволгину. Последнему же нужны деньги, чтобы реализовать амбиции своей самолюбивой, тщеславной и посредственной натуры. «Я прямо с капитала начну, — откровенничает он с Мышкиным, — через пятнадцать лет скажут: «Вот Иволгин, король иудейский!»... Нажив деньги, знайте, — я буду человек в высшей степени оригинальный.



Деньги тем всего подлее и ненавистнее, что они даже таланты дают... Меня Епанчин почему так обижает?.. Просто потому, что я слишком ничтожен. Ну-с, а тогда...» Коварная сила денег тяготеет и над Рогожиным, в купеческом роде которого с фантастическим изуверством наживали капитал. «А ведь покойник, — говорит он, — не то что за десять тысяч, а за десять целковых на тот свет сжива!». Брат Парфена Рогожина Семен готов обрезать с парчового покрова на гробе отца золотые кисти — «оне, дескать, эвона — каких денег стоят». У самого Парфена Рогожина стремление к наживе соседствует с чувственной страстью. Ради ее насыщения и удовлетворения себялюбивой алчности он готов перекупить Настасью Филипповну за сто тысяч. И когда она бросает эти деньги в огонь, обнажаются господствующие низкие чувства присутствующих: Лебедев «вопит и ползет в камин», Фердыщенко предлагает «выхватить зубами одну только тысячу», Ганя падает в обморок и даже князь Мышкин заявляет, что он тоже миллионер, получил наследство и готов предложить свою руку героине.

Наступление низшего на высшее, золотого тельца на истинную любовь, когда христианский идеал отступает перед ма-моною, а предметом купли-продажи становятся красота и человеческое достоинство, создает в романе «убийственную» атмосферу. Его герои часто обращаются к газетным известиям, к текущей уголовной хронике, например, к делу купца Мазурина, зарезавшего ювелира Калмыкова, или студентов Горского, убившего в доме купца Жемарина шесть человек, и Данилова, ограбившего ростовщика Попова и его служанку и расправившегося с ними. Глагол «зарезать» много раз звучит на страницах «Идиота» еще до того, как брачная ночь Рогожина с Настасией Филипповной заканчивается ее убийством. Такой финал предсказывает в самом начале романа Мышкин, его предчувствует она сама, разгадывая тайну «мрачного, скучного» рогожинского дома. Разоблачая черное корыстолюбие Гани, Настасья Филипповна оценивает общее поветрие и предполагает, что «этакой за деньги зарежет! Ведь теперь их всех такая жажда обуяла, так их



разнимает на деньги, что они словно одурели. Сам ребенок, а уж лезет в ростовщики!». Во второй части Бурдовский выдает себя за незаконного сына Павлищева, благодетеля Мышкина, и затевает против последнего тяжбу для собственного обогащения, а его приятель Келлер помещает в газете клеветническую статью о князе. Наблюдая компанию шантажистов, которые «далъше нигилистов ушли», Лизавета Прокофьевна Епанчина, в полном согласии с мыслию самого автора, приходит к предельному выводу. «Уж и впрямь последние времена пришли, — кричит она. — Теперь мне все объяснилось! Да этот косноязычный разве не зарежет (она указала на Бурдовского)? Да побьюсь об заклад, что зарежет! Он денег твоих десяти тысяч, пожалуй, не возьмет... а ночью придет и зарежет, да и вынет их из шкатулки. По совести вынет!.. Тыфу, все навыворот, все кверху ногами пошли... Сумасшедшие! Тщеславные! В Бога не веруют, в Христа не веруют! Да ведь вас до того тщеславие и гордость проели, что кончится тем, что вы друг друга передите, это я вам предсказываю. И не сумбур это, и не хаос, и не безобразие это?!»

Как и во всем позднем творчестве, Достоевский в «Идиоте» сводит социально-нравственный кризис к религиозному, к потере веры, в результате чего торжествует «темная основа нашей природы», а человеком управляют гордыня и алчность, ненависть и чувственность, замаскированные «демократической» и «юридической» шелухой. «Все, что я выслушал... — говорит Евгений Павлович Радомский, опять-таки выражая авторскую точку зрения, — сводится, по моему мнению, к теории восторжествования права, прежде всего и мимо всего, и даже с исключением всего прочего, и даже, может быть, прежде исследования, в чем и право-то состоит?.. От этого дело может прямо перескочить на право силы, то есть на право единичного кулака и личного захотения, как, впрочем, и очень часто кончалось на свете. Остановился же Прудон на праве силы. В американскую войну многие самые передовые либералы объявили себя в пользу плантаторов, в том смысле, что негры



суть негры, ниже белого племени, а, стало быть, право силы — за белыми... Я хотел только заметить, что от права силы до права тигров и крокодилов и даже до Данилова и Горского недалеко».

По пророческой логике Достоевского, в такой общественно-исторической ситуации, когда разнообразятся и множатся эгоистически-индивидуалистические стимулы поведения людей и вырабатываются соответствующие образцовые формулы: «всяк за себя и только за себя», «после нас хоть потоп», «счастье лучше богатырства», «своя рубашка ближе к телу», «рыба ищет где глубже, а человек где лучше», — питать чрезмерные надежды на юридические гарантии и формальные законы было бы наивной иллюзией, а путь от прекраснодушного либерализма, единичного кулака и личного захотения до права тигров и крокодилов не столь уж длинный. И не потому лишь, что, повинуясь духу времени, «судьи» превращаются в «нанятую совесть», принимают описанных в «Идиоте» «биржевиков», «тигрят» и «крокодильчиков» за прогрессивных деятелей. Дело в том, что формальное право порою не только не затрагивает, но и сокращает, отодвигает на задний план нравственное ядро человека и тем самым как бы закрепляет «низкие причины» его поведения, говоря словами Лизаветы Прокофьевны, хождения «кверху ногами». Так, в романе Лебедев взялся защищать за обещанное вознаграждение не жертву, а обманувшего ее ростовщика. Другой адвокат пытался убедить слушателей, что мысль убить естественно должна была прийти бедному преступнику, и гордился про себя, что высказывает самую гуманную и прогрессивную мысль. Рогожин же не противоречил ловкому и красноречивому своему адвокату, ясно и логически доказывавшему, что совершившееся преступление было результатом воспаления мозга. Такой диапазон извращения понятий и возвышенно лживой казуистики выводит за скобки разговор о совести и нравственной ответственности человека и тем самым сохраняет и подпитывает преступную и «убийственную» атмосферу жизни, обогащая одновременно всевозможных



«юристов» и «законников». Конечно же, Достоевский не был отрицателем правовых отношений и отдавал должное их относительным достоинствам. Вместе с тем он прекрасно понимал, что заключенные в них ценности низшего порядка нельзя поднимать на котурны, возводить в превосходную степень, принимать за максимум и панацею и тем самым вольно или невольно разрушать даже их. «Все в нынешний век на мере и договоре, — выражает мысли автора один из персонажей «Идиота», рассуждая об апокалиптических признаках, — и все люди своего только права и ищут... да еще дух свободный, и сердце чистое, и тело здравое, и все дары Божии при этом хотят сохранить. Но на едином праве не сохранят».

По убеждению Достоевского, вследствие изначальной слабости и порочности человека, «закон» неизбежно и крайне необходим (особенно в историческом контексте деспотизма и беззакония). Однако без «благодати» и «даров Божиих», без чистого сердца и настоящей свободы, то есть внутренней независимости от своекорыстия, он таит в себе возможность саморазрушения и не имеет никаких преград для поиска лазеек в утверждении «своего права» и «законного» беззакония.

Обезображенное состояние дехристианизированного мира символизирует в романе находящаяся в доме Рогожина картина Гольбейна «Мертвый Христос», изображающая Спасителя тлеющим трупом и связанная с важной, в общем замысле романа, исповедью умирающего от чахотки Ипполита Терентьевича. Картина эта означает для последнего отсутствие веры в божественность Христа и реальное бессмертие, а стало быть, — торжество смерти. «Тут невольно приходит понятие, — размышляет Ипполит, — что если так ужасна смерть и так сильны законы природы, то как же одолеть их? Как одолеть их, когда не победил их теперь даже тот, который побеждал природу при жизни своей?.. Природа мерещится при взгляде на эту картину в виде какого-то огромного, неумолимого и немого зверя или, вернее, гораздо вернее сказать, хоть и страшно, — в виде какой-нибудь громадной машины новейшего устройства,



которая бессмысленно захватила, раздробила и поглотила в себя, глухо и бесчувственно, великое и бесценное существо — такое существо, которое одно стоило всей природы и всех законов ее, всей земли, которая и создавалась-то, может быть, единственно для одного только появления этого существа!»

Если смерть есть закон природы, если «немой зверь» пожирает и «громадная машина» перемалывает в своих жерновах бесчисленные поколения людей, то все обессмысливается, обезразличивается, уравнивается — добро и зло, подвиг и злодеяние, жертвенность и насилие, самоубийство и убийство. Ипполит пытается убить самого себя (это его предельный вывод и «последнее убеждение»), Рогожин убивает Настасью, но у них общая метафизическая почва. Оба они — дети неверия, слуги смерти, и при определенных обстоятельствах убийца и самоубийца могут поменяться местами. «Я намекнул ему (Рогожину), — говорит умирающий юноша, — что, несмотря на всю между нами разницу и на все противоположности, les extrémités se touchent... так что, может быть, он и сам вовсе не так далек от моего «последнего убеждения», как кажется».

Достоевский показывает в «Идиоте», что современное состояние мира с его банками, биржами, судами, ассоциациями, акционерными компаниями и железными дорогами принижает все возвышенное и духовное, разлагает вышесмысловое и ценностное отношение человека к действительности и способствует развитию в нем лишь чувственных и корыстных стимулов деятельности. Сравнивая «звезду Полынь» в Апокалипсисе с развернувшейся по Европе сетью железных дорог и рассуждая о «веке пороков и железных дорог», Лебедев подчеркивает, что «собственно одни железные дороги не замутят источников жизни, а все это в целом-с проклято, все это настроение наших последних веков, в его общем целом научном и практическом, может быть, и действительно проклято-с».

Князь Мышкин оказывается изгояем, «выкидышем» в «проклятом» мире, поскольку представляется в романе своеобразным



антиподом, не принимающим его правил игры и бессильно противостоящим ему. «Дитя совершенное», «младенец» — так называют смущающегося, как «десятилетний мальчик», князя Мышкина «взрослые» люди, занятые своими «практическими» интересами. Во всех веках и у всех людей, замечал Л.Н. Толстой, ребенок представлялся образцом невинности, безгрешности, доброты, правды и красоты. Идеально-бескорыстный смысл, вкладываемый Толстым в образ ребенка и перекликающийся с евангельским («будьте как дети»), был близок и Достоевскому в разработке образа положительно прекрасного человека, который рассудочному сознанию кажется идиотом, то есть сошедшим с колеи «нормального» для «темной основы нашей природы» ума и в результате непростительно «опустившегося» до чистоты и наивности детского восприятия. Однако с «высшей точки» зрения дело обстоит несколько иначе. «Хоть вы и в самом деле больны умом (вы, конечно, на это не рассердитесь, я с высшей точки говорю), — заявляет ему Аглая, — но зато главный ум у вас лучше, чем у них всех, такой даже, какой им и не снился, потому что есть два ума: главный и неглавный».

В представлении Достоевского неглавный ум является инструментом воли и желаний неочищенного сердца, внешнего жизнеустройства через сложное «взрослое» переплетение силы, борьбы, зависти, гордости, власти и т. п. Главный же ум связан с внутренней свободой от житейской пользы и выгоды, с душевно-духовным просветлением и возвышением человека и соответственно нравственным преображением окружающего пространства в духе христианской любви. Не имея силы неглавного ума, князь Мышкин не обладает и властью богатства. «В этом узелке, — усмехается, глядя на него снисходительно-иронически, Рогожин, — вся ваша суть заключается». Рогожину он кажется юродивым и оттого, что лишен чувственной страсти. Целомудрие и неиспорченность натуры князя различными проявлениями эгоистического сознания делают его неуязвимым для зависти, обиды и мстительных чувств, обуревающих многих персонажей «Идиота». Он рав-



нодущен к социальным рангам и привилегиям, терпит обман и мошенничество, которые не пробуждают в нем никакой «самообороны» и воинственности, а также великодущен и умеет прощать. Более того, он вполне искренне готов считать себя «последним из последних в нравственном отношении», чем приводит в растерянность и недоумение сталкивающихся с ним представителей разных общественных сословий и одновременно снижает на своем месте распространение зла, воплощая излюбленную мысль писателя.

Эта мысль Достоевского основана на признании изначального несовершенства человека и вместе с тем его сопричастности всему происходящему в мире. Каждый виноват в меру отсутствия света в собственной душе и бескорыстной любви к людям. Следствия душевного мрака и несовершенства, различные по степени и особенностям, но неискоренимые до конца в любом человеке, по невидимым каналам распространяются вокруг. И малейшие наши злые помыслы, слова и поступки, как считал Достоевский, незримо отпечатываются в душах окружающих, распространяются все дальше и дальше в пространстве и времени, подвигая кого-то в сторону зависти или гордости, рабства или тиранства и т. п. («Был бы сам праведен, — замечает один из персонажей последнего романа писателя, — может быть и преступника передо мной не было».) Таким путем накапливается и растет в мире отрицательный духовный потенциал, питающий происходящие в нем злодеяния. Ведь «все как океан, все течет и соприкасается, в одном месте тронешь, в другом конце мира отдается». И «попробуйте разделиться, попробуйте определить, где кончается ваша личность и начинается другая?»

Именно глубокое чувство вины и одновременной сопричастности бытию изнутри определяет «идиотское», «юродивое» поведение князя Мышкина, заставляя «неразумно» ставить все и всех выше себя. Свобода от амбиций и корыстной заинтересованности как бы очищает его сердце, обусловливает «необыкновенную наивность внимания»,



способность точно схватывать происходящее в душах людей и помогать им путем единичного добра (в черновиках к «Идиоту» писатель замечает, что лучше воскресить одного человека, чем совершать подвиги Александра Македонского).

Достоевский считал, что единичное добро или деятельность любовь, в которой нет внутренней противоречивости, есть великая сила, способная неисповедимыми путями «на другом конце мира» отдаваться, ибо «все связано со всем». «Единичное добро останется всегда, потому что оно есть потребность личности, живая потребность влияния одной личности на другую... Тут ведь целая жизнь и бесчисленное множество скрытых от нас разветвлений... Бросая ваше семя, бросая вашу «милостыню», ваше добре дело в какой бы то ни было форме, вы отдаете часть вашей личности и принимаете в себя часть другой; вы взаимно приобщаетесь один к другому; еще несколько внимания, и вы вознаграждаетесь уже знанием, самыми неожиданными открытиями. Вы непременно станете смотреть, наконец, на ваше дело как на науку; она захватит в себя всю вашу жизнь и может наполнить всю жизнь. С другой стороны, все ваши мысли, все брошенные вами семена, может быть уже забыты вами, воплотятся и вырастут; получивший от вас передаст другому. И почему вы знаете, какое участие вы будете иметь в будущем разрешении судеб человечества?»

Попытку формулировать теорию единичного добра, но не проводя ее в повседневность своего существования, делает в «Идиоте» Ипполит Терентьев, что своеобразно свидетельствует об ущербности суживающего теоретического подхода к жизни вообще, а к таким ее бесценным ценностям, как добро, любовь, совесть, в особенности. Возможна лишь непосредственная жизнь в добре, любви и совести, которую, не сочиняя о ней никаких теорий, в романе ведет князь Мышкин. Дар понимания других людей и помочь им естественно соединен в князе с повышенной возможностью нравственного влияния на них, с отношением к ним не как



к материалу и средству для искомой пользы и выгоды, а как к самоценным личностям. Все это не обостряет, а, напротив, ограничивает и смягчает проявления их корыстных претензий и создает условия для обнаружения скрытых в каждом человеке добрых начал. Таково, например, воздействие Мышкина на генерала Епанчина: «... взгляд князя был до того ласков в эту минуту, а улыбка его до того без всякого оттенка хотя бы какого-нибудь затаенного неприязненного ощущения», что Епанчин тотчас же оставил свою настороженность. Обозленный и готовый уничтожить князя Рогожин при встрече с ним растерял всю злобу, и тот сделался ему «по-прежнему люб».

Благотворное воздействие сердечно-понимающего отношения к людям проявляется и в любви-жалости князя Мышкина, которая в противоположность любви-страсти не делает своего предмета объектом подчинения и господства. В его тяге к Настасье Филипповне ощущалось «как бы влечение к какому-то жалкому и больному ребенку, которого трудно и даже невозможно оставить на свою волю», и он ее «любит не любовью, а жалостью». Его выбор между Аглаей и Настасьей Филипповной был предопределен так: «Ведь она (Настасья Филипповна — Б. Т.) такая несчастная».

Незнакомые ей до сих пор человечность и бескорыстие («... в первый раз человека видела!» — говорит Настасья Филипповна князю, которого, как Груша Алешу Карамазова, намеревалась было «съесть») способствуют нравственному сдвигу в ее ожесточившейся душе: «А князь для меня то, что в него в первого во всю мою жизнь, как в истинно преданного человека поверила. Он в меня с одного взгляда поверил, и я ему верю».

Преобразующее воздействие конкретно-доброго поведения князя Мышкина неоднократно подчеркивалось Достоевским в черновых записях. «Он восстановляет Настасью Филипповну и действует влиянием на Рогожина. Доводит Аглаю до человечности, Генеральшу до безумия доводит в привязанности к князю и в обожании его. Сильнее действие на Рогожина и на перевоспитание его. Аделаида —

немая любовь. На детей влияние. На Ганю – до мучения. Даже Лебедев и Генерал». И еще в черновиках: «Князь только прикоснулся к их жизни. <...> Но где только ни прикоснулся – везде он оставил неисследимую черту».

Оставляя «неисследимую черту» в душах окружающих, в разной степени нравственно влияя на их сердца, князь Мышкин вместе с тем не может существенно изменить их поведение. Он не в состоянии преодолеть границы их самостного обособления и ослабить силы «темной основы нашей природы», для чего необходимо свободное встречное движение к добру и свету из глубины каждой отдельной личности. Без такого движения, как показывает писатель, невозможно преображение внутреннего мира ни Настасьи Филипповны, ни Рогожина, ни других персонажей «Идиота», испытывающих его воздействие, но не способных освободиться от одолевающих их эгоистических страстей, переживаний обиды и ущемленной гордости. Писатель показывает, как неутоленная жажда первенства и обладания, проникая в любовь, изнутри разлагает это самое человеческое в человеке чувство и противодействует его воззывающему и преображающему влиянию. Любовь-злость, любовь-месть, любовь-тиранство, любовь-ненависть – подобные метаморфозы любовного чувства, обращающие его в свою противоположность, часто встречаются в произведениях Достоевского. Характерны они и для персонажей «Идиота», движимых уязвленным самолюбием. Так, в отношении Гани Иволгина к Настасье Филипповне странно слились страсть и ненависть, и он дал, наконец, после мучительных колебаний, согласие жениться на «скверной женщине», но сам поклялся в душе горько отомстить ей за это и «доехать» ее потом. То, что не довелось сделать Гане, сумел привести к логическому финалу Рогожин, «дикая любовь» которого мертвой петлей охватила Настасью Филипповну и результат возможной женитьбы которого предвидит князь Мышкин: «... женился бы, а потом зарезал...» Близкие к Рогожину люди единодушны в оценке такой любви. «Твою любовь от злости не отличишь», –



говорит ему Мышкин, а Настасья Филипповна заявляет: «... он до того меня любит, что уже не мог не возненавидеть меня». Сама она, как и Аглай, не может одолеть воспаленной обиды, подчиняющей искренние порывы их сердечных чувств.

Сила страстей эгоцентрической натуры человека оказывается сильнее влияния единичного добра. Более того, это воздействие ограничено неполнотой и недовополненностью христианского идеала, оборачивающегося у положительно прекрасного человека невнятным гуманизмом, который жалеет и помогает, но не преображает и не спасает. Князь Мышкин убежден, что «красота спасет мир». Однако в романе «небесная» красота находится как бы за скобками и не влияет на ход событий, «земная» же сама нуждается в спасении, поскольку оказывается в пленах у «темной основы нашей природы», подстегивает обиженную гордость и капризное властолюбие у ее носительниц (у Настасьи Филипповны и Аглаи), а в окружающих возбуждает тщеславие (в Гане), сладострастие (в Тоцком и Епанчине), чувственную страсть (в Рогожине). Князь Мышкин же остается в патологической неопределенности и раздвоенности между Настасьей Филипповной и Аглаей (первая гибнет физически, а вторая — духовно, выходя замуж за польского графа-эмигранта «с темной и двусмысленною историей» и попадая под влияние какого-то католического патера) и в конце концов погружается в безумие. «Образ князя Мышкина, — подчеркивает Н.О. Лосский, — чрезвычайно привлекателен; он вызывает сочувствие и сострадание, но от идеала человека он весьма далек. Ему не хватает той силы духа, которая необходима, чтобы управлять своею душевною и телесною жизнью и руководить другими людьми, нуждающимися в помощи. На чужие страдания он может откликнуться лишь своим страданием и не может стать организующим центром, ведущим себя и других сообща к бодрой жизни, наполненной положительным содержанием».



Создавая образы «плюсовых людей», как он сам выражался, Достоевский в других своих произведениях и будет стремиться раскрыть христианские источники той силы духа, которая способна более действительно противостоять силам «темной основы нашей природы» и поддерживать «бодрость» и «положительность» жизненного содержания. Размышляя над следующим романом, он подчеркнет: «... Христианство спасает мир и одно только может спасти — это мы вывели и этому верим. Раз. Далее: христианство только в России есть, в форме Православия. Два. <...> Православие заключает в себе образ Иисуса Христа. Христос — начало всякого нравственного основания».